

The background of the entire image is a dark, deep blue or black. Overlaid on this are several dynamic, flowing shapes of a bright, molten gold or yellow color. These shapes resemble liquid being poured or swirling, with some areas appearing more solid and others more like wispy smoke or thin streams. The lighting is dramatic, with the golden shapes glowing against the dark background, creating a sense of movement and energy.

Данил Юртаев

**Печать
и
пепел**

Данил Юртаев

Печать и пепел

<https://litres.ru/74578227>

SelfPub; 2026

Аннотация

Тихая жизнь Оливии кончается в ночь, когда незнакомец уводит её в мир Велор. На запястье — печать договора: раз в неделю она обязана приходить к человеку, которого никогда не видела. Феликс ждал этого двадцать шесть лет — и не он один. Мервин, похитивший Оливию, ведёт свою игру: он хочет сломать печати, которые отняли у него жену. А в Велоре за нарушение договора водят к столбу. Между молчаливым мужем, который начинает возвращаться, и Феликсом, который начинает гореть, Оливия стоит на пороге — и порог этот не между мирами.

Данил Юртаев

Печать и пепел

ПЕЧАТЬ И ПЕПЕЛ

роман

Книга первая

Принстонская федерация — Велор

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Дом с погасшим окном

Глава вторая. Договор засвидетельствован

Глава третья. Возвращение

Глава четвёртая. Хранители пепла

Глава пятая. Первое воскресенье

Глава шестая. Порог

Глава седьмая. Свидетель на мосту

Глава восьмая. Не в зале

Глава девятая. Сорок дней

Глава десятая. Суд Прихода

Глава одиннадцатая. Правда, которую он просил

Глава двенадцатая. Вторник

Глава тринадцатая. Каменный зал. Снова

Глава четырнадцатая. Год кончается в среду
Это не конец. Это первая книга.

Глава первая. Дом с погасшим окном

В Принстонской федерации не падали снежные облака — падали только снежные частицы, потому что облака надолго застревали в границах, а границами Федерация дорожила больше всего на свете. Оливия знала это со школы и никогда не думала об этом. Потом жизнь научила её думать о словах «надолго застревали» совсем в другом смысле.

Она ждала Роберта с шести часов.

Стол был накрыт — не парадно, не по случаю, а просто: две свечи, потому что свечи в этом доме зажигали раз в год, и этот день пришёл. Четыре года брака. Она даже купила вино, то самое, которое они пили на свадьбе, — оно стоило слишком много и стояло теперь на столе, как маленький памятник тому, что они когда-то умели радоваться вдвоём.

В семь она сняла фартук. В половине восьми — убрала свечи. В девять съела своё место за столом, потому что салат уныло вянет в одиночестве.

— Опять, — сказала она на пустой кухне и услышала, как голос её прозвучал не с гневом, а с усталостью, старой, как их брак.

Роберт не был плохим мужем. В том и беда, что он не был плохим. Он работал в архитектурном бюро на Ковен-стрит и возвращался домой тогда, когда возвращался, — в восемь, в

десять, в полночь, — и каждый раз приносил с собой запах чертёжной туши и извинения, которые звучали так: «Сделка закрылась, не мог выйти». Она верила ему. В этом не было ни обиды, ни подозрений — просто был дом, в котором двое ходили по разным комнатам, как по разным городам.

В девять с четвертью в дверь позвонили.

Оливия испугалась сначала — Роберт не звонил в дверь, у него был ключ, — а потом подумала: курьер. Она не заказывала ничего.

На пороге стоял незнакомец. Высокий, в длинном тёмном пальто, которое было слишком тёплым для октября, с лицом, которое было слишком спокойным для ночи. Волосы у него были отросшие, пепельно-серые — не от возраста, а будто кто-то вылил на них старость заранее.

— Оливия Сноу? — спросил он.

— Да, — сказала она, не проверяя и не запирая дверь.

— Меня зовут Мервин. Простите за поздний час. — Он смотрел не на её лицо, а куда-то в её центр, как будто в ней было окно, и он заглядывал внутрь. — Мне нужно, чтобы вы спустились со мной на один этаж. Только на один. Ниже подъезда, ниже улицы.

— Простите, — сказала Оливия. — Это неправильно.

— Это неправильно, — согласился он с той же ровной интонацией. — И всё-таки мне нужно.

Она закрыла дверь. Стояла и слушала тишину за ней. Где-то в глубине дома тикали часы, которые Роберт купил в пер-

вый год, когда у них ещё были вещи, купленные вместе, а не купленные по очереди.

Дальше — она потом будет прокручивать это сотни раз, и каждый раз она не сможет объяснить, почему сделала именно так, — Оливия открыла дверь.

Он не был груб. Он не был мягок. Он держал её под локоть с точностью человека, который делает это не впервые, и когда они прошли мимо лифта, мимо почтовых ящиков, мимо всего мира, Оливия увидела, что ступени под их ногами идут не вниз — ниже. Ниже лестничной клетки не было лестницы, и они всё равно шли.

— Не бойтесь, — сказал Мервин. — Боль там заканчивается быстрее, чем здесь.

— Что там заканчивается? — спросила она. Голос был странный, будто говорил кто-то другой.

— Вы, — сказал он.

Дальше было ощущение, как будто кто-то вывернул мир наизнанку через неё. Ветер пошёл не снаружи, а изнутри, из её груди наружу, и воздух втянул её, как втягивают нить.

Она упала на холодный камень.

Было темно. Пахло камнем, нагретым солнцем, — странно, потому что солнца не было, — и пеплом. Где-то далеко, на границе слышимости, кто-то пел — не песню, а скорее читал вслух, размеренно, в такт неслышному барабану.

Мервин стоял над ней. Пальто его было мокрым — здесь шёл дождь, тонкий, тяжёлый, тёплый, как слёзы, которых она

так и не дождалась в тот вечер за свадебным столом.

— Прости меня, — сказал он. И не помог ей встать.

За его спиной, в глубине каменного зала, горел огонь. У огня стояли люди в серых одеждах, и один из них, старший, держал в руках свиток и молчал так, как молчит судья, пока не вынесен приговор.

Оливия попыталась встать. Её правая рука горела — не больно, а жарко, изнутри, как будто в кость влили жидкое солнце. Она подняла её к лицу.

На запястье, у самого пульса, лежал след — узкий, круглый, из золы и золота. Он был не татуировкой и не ожогом. Он был словом, которого она пока не умела читать.

— Что это? — спросила она.

Мервин посмотрел на её руку — впервые за всё время с настоящим, живым выражением, почти с нежностью.

— Это то, что вы теперь носите, — сказал он. — И то, что теперь носит кто-то ещё.

Глава вторая. Договор засвидетельствован

Ей дали выспаться — если можно назвать сном восемь часов на каменном ложе, накрытом шерстяным пледом, под сводами, из которых капала вода с точностью метронома. Ей дали есть — хлеб тёмный, тёплый, с солью внутри, лучшее, что она пробовала за четыре года брака, и она заплакала над ним, не стесняясь, и никто в зале не поднял глаз. Здесь, похоже, плакали часто.

На вторые сутки за ней пришли.

Серые одежды. Не тюремщики — служители. Старший из них, тот, что держал свиток, был сух, как осенний лист, и звали его Товия. Он шёл перед ней, не оборачиваясь, и говорил вполоборота, как диктуют письмо.

— Печать на вашем запястье — не украшение. Это договор. Вы — связанная сторона.

— Я ничего не подписывала.

— Вы вообще ничего не делали. В том беда. — Товия остановился. — Мервин выбрал вас. Не спрашивайте почему — я не знаю. Он похитил вас из вашего мира и провёл над вами обряд. Обряд засвидетельствован. Боги видели. Боги, видевшие, не забывают.

— Я хочу домой.

— Вы попадёте домой. — Товия произнёс это так же ровно, как всё остальное. — Печать откроет вам дверь. Дверь будет работать, пока работает печать. А печать работает, пока соблюдён договор.

— Какой договор?

— Вторая сторона договора — Феликс.

Имя прозвучало так, как звучат имена, за которыми стоят стихии: не человек, а направление ветра.

— Кто такой Феликс?

— Второй связанный. Тот, кто держит второй конец нити. — Товия снова пошёл. — Раз в неделю — к нему. В один и тот же день, в один и тот же час. Если вы пропустите, печать

истончится, и душа выйдет из вас, как вода из треснувшего кувшина. Медленно. Сначала вы перестанете чувствовать жар. Потом — холод. Потом — ничего.

— Раз в неделю я должна приходить к человеку, которого никогда не видела. Зачем?

— Затем, что договор засвидетельствован, — сказал Товия, и это был первый раз, когда в его голосе прозвучало что-то похожее на жалость. — Мы не спрашиваем зачем, когда боги видели.

Её привели в зал, где было светлее. И там, у окна, за которым стоял дождь, стоял Феликс.

Первое, что она заметила, — не лицо. Лицо было потом. Первое — руки: длинные, спокойные, сложенные перед собой, как у человека, который ждал давно и умеет ждать дольше. Второе — то, что он не смотрел на неё, как смотрел Мервин, — не внутрь. Он смотрел прямо в глаза, и от этого было легче и невыносимее одновременно.

— Оливия, — сказал он. Голос низкий, чуть хриловатый. — Я не давал согласия на этот договор. Меня тоже выбрали.

— Тогда отпусти меня.

— Я не держу печать. — Он сделал шаг к ней, и она не отступила, хотя всё внутри кричало отступить. — Печать держит нас обоих. Если бы я мог её снять — я бы сделал это в первую же ночь. Спроси Товию. Он злился на меня три дня, потому что я не нашёл способа.

— Ты меня даже не знаешь.

— Знаю. — Он сказал это просто, без нажима. — Ты просыпаешься от звуков в стенах. Ты считаешь шаги, когда идёшь по лестнице, — не нарочно, просто иначе не умеешь. Ты держишь в руках чужие чашки так, будто они твои, а свои — так, будто они чужие. И ты не показываешь этого никому. — Он помолчал. — Я не знаю, как я это знаю. Это часть того, что с нами сделали.

Она смотрела на него. Дождь за окном шёл в такт её сердцу — или ей казалось, что в такт, но в этом мире, как она скоро узнает, казаться и быть — родственные слова.

— А если я приду? — спросила она тихо. — Что тогда?

— Тогда мы будем разговаривать. — Феликс пожал плечами — жест почти человеческий, почти наивный. — Есть вино. Есть хлеб. Есть этот зал, который дышит, когда мы оба молчим. Я не буду делать ничего, чего ты не захочешь. Договор требует присутствия, Оливия. Не большего. Печать не заставляет. Она только помнит.

— Что помнит?

— Всё, что мы делаем рядом. И всё, что не делаем. — Он впервые улыбнулся — коротко, криво, как человек, которому редко улыбаться и некогда. — Поверь мне, второе она помнит больше.

Глава третья. Возвращение

Домой печать вернула её так же тихо, как Мервин увёл оттуда, — не через дверь и не через окно, а сквозь собствен-

ную кожу, как сквозь тёплую воду. Она стояла посреди своей прихожей, в пальто, которое надела четыре дня назад, и смотрела на часы, показывавшие тот самый час, в который она исчезла. Здесь не прошло и минуты. Мир, в котором у неё был дом, не заметил её отсутствия. В этом было и спасение, и обида.

Товия объяснял накануне, стоя у окна, за которым падал их вечный дождь:

— Печать открывает путь в тот мир, откуда вас взяли. Она привязана к дому, к кровати, к месту, где вы спите. Уходите из мира и возвращайтесь — печать помнит. Но помните и вы: раз в неделю, в этот же день, в этот же час, вы должны стоять в зале Феликса. Не спрашивайте меня, что будет, если нет. Я сказал.

— Вы не сказали, — заметила Оливия.

— Верно. — Товия смотрел на дождь. — Я не говорю этого вслух, потому что дважды в жизни видел, как душа выходит из тела. Я не хочу видеть третий раз.

Роберт вернулся в полночь. Она уже лежала — спиной к двери, лицом к стене, — и слышала, как он снял ботинки в прихожей, как поставил кружку мимо подставки (всегда мимо подставки), как остановился в дверях спальни и постоял там, глядя на неё. Она знала его взгляд спиной, так же как когда-то знала его шаги.

— Ты не спишь, — сказал он.

— Сплю, — сказала она.

— Оливия.

— Что?

— Салат выбросила?

Она засмеялась. Не потому что было смешно, а потому что тело, испуганное четыре дня, не находило других дверей для страха, кроме смеха. Роберт сел на край кровати, положил руку ей на плечо — тяжёлую, тёплую руку человека, который не прикасался к ней неделями, — и она почувствовала, как всё внутри неё расступилось в разные стороны: к Роберту — тепло старой привычки, от него — воспоминание о зале, где капала вода.

— Четыре года, — сказал он. — Ты меня прощаешь?

— Я тебя не обвиняла.

— Ты никого не обвиняешь. Ты просто перестала ждать меня к ужину. Я это заметил, Оливия. Я всё замечаю, я просто потом иду спать, как будто ничего не заметил.

Она повернулась к нему. Он был здесь, живой, с уставшими глазами, и она любила его — да, всё ещё, — тем хаотичным, изношенным чувством, которое не проверяется, потому что проверять страшно. Она взяла его за воротник рубашки и притянула к себе.

Поцелуй был правильным. Все движения были правильными. Их тела знали друг друга четыре года и до сих пор умели находить дорогу в темноте, и было в этом что-то одновременно прекрасное и невыносимое — как вступать в разговор, начатый год назад. Роберт дрожал — впервые за всю

их совместную жизнь она чувствовала, что он дрожит, — и шептал между поцелуями: «Прости. Прости. Прости», — и она отвечала не словами.

Всю ночь она провела в его объятиях, и всю ночь где-то на самом краю сна её пульсировало запястье — тихо, ровно, как второе сердце, которое живёт не здесь.

Утром Роберт уехал рано — впервые за месяц к девяти, — и пообещал с порога: «Вернусь к ужину. Настоящему ужину. В семь». Она стояла в окне и смотрела, как он садится в машину, и думала о том, что где-то в другом мире идёт тёплый дождь и человек с большими руками ждёт её — не сегодня, но в воскресенье. И что она уже сейчас считает до воскресенья. Этого она себе не простила долго.

Печать открылась под её ладонью легко, как открывается дверь, которую смазывали. Она даже не успела испугаться.

Глава четвёртая. Хранители пепла

Мир за печатью назывался, как выяснилось, Велором, и был старше её мира, как море старше лужи. Здесь было летнее солнце, которого не было дома, — сухое, милосердное, — и каменные города, выточенные из единого утёса, без единого шва. Здесь не было слов «полицейский» и «банк», но зато было слово «свидетель» — самое тяжёлое слово этого мира.

Здесь женщины, изменившие мужу, шли к столбу на рынке. Об этом Оливии сказала Марго.

Марго появилась в её жизни на третий день после возвращения. Оливия сидела на скамейке у фонтана в квартале Соляных рядов — печать открывала не только зал Феликса, но и любые двери Велора, если она шла пешком, и пешком было лучше, потому что пешком можно было убедить себя, что она здесь не по собственной воле, — и женщина напротив вдруг сказала:

— Ты держишься за запястье, как за чужое.

Оливия подняла глаза. Женщина была примерно её лет, с пёстрым платком, поверх которого — вопреки всему — был наброшен серый плащ хранительницы. Совмещать серое и пёстрое позволял только один человек в городе: та, что здесь родилась и по серому ходит добровольно.

— Я Марго, — сказала женщина. — Я чиню печати. Ну, то есть — печать починить нельзя. Я чиню людей, у которых печати.

— Меня зовут...

— Оливия. Я знаю. Весь квартал знает: Мервин притащил в зал Товии женщину, которая не знает правил. — Марго села рядом, не спрашивая, и от неё пахло пеплом и розмарином. — Так что слушай, потому что говорить буду один раз. Первое: не пропускай воскресений. Это не угроза, это физика. Второе: не показывай печать на рынке. На рынке сидят смотрители Третьего Прихода — не спрашивай, кто это; секта, которая следит за контрактами и доносит на тех, кто с ними обращается вольно. Для них ты — нарушение, выгу-

ливаемое на двух ногах. Третье: если тебя спросят, жена ли ты, — в этом мире спрашивают, жена ли ты, — говори, что вдова. Быть вдовой легче. Быть замужней в этом мире и не быть рядом с мужем — уже половина вины. Измену здесь меряют не ночами, а расстоянием.

— Измену? — Оливия рассмеялась — коротко, некрасиво. — Я не изменяла.

— Знаю, — Марго посмотрела на неё так, как смотрят в окно на улицу. — Я не о тебе, девочка. Я о них. Они уже выбирают тебе имя в своих списках. Ты не помешаешь им выбрать «изменница», если будешь ходить в этот мир с одного лица и потом возвращаться в этот мир с другого лица. — Она помолчала. — Ты меня вообще не понимаешь, да?

— Ни слова.

— Прекрасно. Начнём с начала. — Марго сняла с головы платок и связала его узлом на запястье, поверх печати, — жест домашний, будничный, как завязать фартук. — Так выглядят здесь замужние женщины, которые не высовываются. Столб на Соляной площади — это не история, это расписание. Если свидетелей двое, суд жён — трое суток, приговор в пятницу. Муж может защитить тебя один раз, подняв руку над твоей головой. После этого — он уже не может. И если Роберт...

— Ты знаешь про Роберта?!

Марго посмотрела на неё долго.

— Печать, — сказала она наконец тихо, — не закрывает,

что было у тебя до неё. Она открывает всё, что после. Твой муж живёт в мире, куда печать тебя отпускает. А в этом мире ты — женщина без мужа. Женщина без мужа, которая каждую неделю входит в зал к связанному мужчине. Что, по-твоему, это выглядит со стороны?

Оливия молчала. Платок на её запястье, завязанный Марго, был всё ещё тёплым — как рука друга.

— И последнее, — Марго встала, стряхнула с плаща невидимую пыль. — Мервин. Он сделал с тобой то, за что здесь убивают, и я не знаю, зачем. Но я знаю, что он вернётся. Такие, как он, возвращаются. И когда он вернётся, тебе захочется сказать ему всё, что накипело. Не говори. Спроси, — она подняла палец, — зачем. Слово «зачем» — единственное, что такие, как он, иногда отвечают честно.

И она ушла, звякнув неслышно, как уходят люди этого мира — без звука шагов.

Оставшись одна, Оливия сняла платок, посмотрела на печать — золу и золото, слово, которого не умела читать, — и подумала о том, что в её мире измену не наказывают столбом. В её мире измену наказывают хуже: молчанием за завтраком и вопросом «салат выбросила?», которым муж спрашивает, жива ли ещё та женщина, которую он когда-то ждал к ужину.

Глава пятая. Первое воскресенье

Печать не будила. Она начиналась ещё во сне — тихое

тепло под пульсом, как будто кто-то держал ладонь над костром на расстоянии ладони. Оливия просыпалась за час до назначенного и в этот час купалась, одевалась, передумывала три платья и, в конце концов, надела первое — серое, скучное, за которое Марго бы одобрила. Перед зеркалом она на секунду прижала ладонь к запястью, и тепло под кожей ответило ей, как отвечает собака, когда хозяин возвращает руку.

«Не начинай разговаривать с собственной рукой», — сказала она себе.

Зал Феликса встретил её солнцем. Вчерашний дождь кончился — здесь, похоже, погода и время были вещами, с которыми соглашались, а не которые планировали, — и свет лежал на каменном полу широкими горячими полосами. Феликс стоял у окна и разливал вино в два кубка. Без пафоса, без ожидания — так расставляют посуду на кухне.

— Ты пришла, — сказал он. Не «здравствуй», не «рад тебя видеть». Просто констатация факта, как подтверждают прибытие поезда.

— Я не приходила. Меня перенесло.

— Печать не переносит. Печать помнит дорогу, а идти всё-таки тебе. — Он протянул ей кубок. — Впрочем, спорить будем потом. Сначала вино. Это вельорское, из южных садов, его делают из винограда, который созревает только в тот год, когда дважды цветёт миндаль. Может, раз в семь лет. Может, никогда.

Оливия сделала глоток и замолчала. Вино пахло минда-

лём и дымом, и в нём была такая непозволительная сладость, что в горле вставал ком.

— Роберт, — сказала она, чтобы сказать хоть что-то, чтобы держаться за имя. — Мой муж. Он ждёт меня к ужину сегодня. Я вернусь к семи, к его семи.

— Печать вернёт тебя за минуту до того, как ты отсюда ушла. Для него тебя не будет вообще. — Феликс смотрел на неё внимательно. — Ты говоришь его имя так, как вешают полотенца. Чтобы что-то было на месте.

— А как я говорю твоё?

— Ты его ещё не говорила.

Она отвернулась к окну. Солнце стояло над городом так высоко, что тени исчезали вовсе, и город из камня выглядел как город из света.

— А ты кем мне быть должен? — спросила она, не оборачиваясь. — Тюремщиком? Хозяином? Тем, кого боги выдали за меня заочно?

— Никем. — Он подошёл и встал рядом — не вплотную, на расстояние ладони, которое он, кажется, точно измерил. — Я вообще не должен. В этом вся гадость нашей ситуации, Оливия. Договор связывает присутствие, не волю. Боги взяли с нас присутствие и оставили свободу. И свобода без правил — страшнее клетки.

— Это философия или жалоба?

— Это то, что я понял на второй день, пока ты плакала над хлебом.

— Ты видел?!

— Я слышал. — Он пожал плечами. — Стены здесь тонкие. И вообще — над хлебом этого мира плачут все, кто сюда попадает. Соль внутри. Сюда её кладут те, кто пёк, — для чужаков.

Они сидели за столом весь день. Не потому что должны были — потому что печать требовала только их присутствия в зале, а они разговаривали, и день кончился раньше, чем разговор. Он рассказал ей про Велор: про города из утёса, про богов, которые, по преданию, в древности спорили за людей, как игроки за доску, и в конце концов поделили мир на договоры, и с тех пор всё, что важно, здесь отмечают печатью. Она рассказала ему про свой мир: про Роберта, который приносил домой запах туши и извинения; про Марго — он знал про секту Третьего Прихода и помрачнел, услышав про зрителей; про то, что она реставрирует мебель, — «чинишь то, что ломают временем», — сказал он, и она почувствовала, как её профессия впервые в жизни прозвучала красиво.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.